

Сергей Юрьенен

## Из дневников и записных книжек Excerpts from Diaries and Notebooks

*Кто может быть против нас,  
если за нас боги?*

ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1966–973

*Минск, 2 мая 1966*

...Не могу писать, не работая над стилем. А работая, писать – противно. И противно думать, что будут читать.

А если бы сказали: испишешь тетрадь и выброси, – не выбросил. А может быть, и писать не стал бы, если бы только для себя.

О главном:

1) Не делать того, против чего голосует что-то в тебе. Потому что этот голос, я чувствую, обладает правом вето. Против него нельзя идти, и ломать его нельзя.

2) Отбросить, как отжившее, мысли о том, что нужно знать многообразие жизни. – Нужно знать себя, несущего ее в себе, изучить свою сердцевину, суть и соль, и смысл себя как не собственно себя, а как человека рядового, нагого человека, но прикрытого фиговым листком нашего времени...

3) Ни в коем случае не употреблять шаблон!

Перечитал – и как все отдельно уже от меня. Такого не было с моей прозой. Люди как реки – дважды войти нельзя...

– Все ставят под сомнение.

– Возраст такой, правильно.

– Отвращение вызывают эти слова.

*6 мая 1966*

...Надо самому, исключая любые советы опытных, то есть подавленных жизнью, обтершихся, отвергая их, надо разобраться в своих силах, все продумать и начать идти только своей тропой, сколько бы не отличалась она от навязанного и принятого. Только своей...

13 мая 1966

Поражение по химии.

Был на V съезде писателей БССР.

Быков; Кожевников в президиуме.

Выступление Гречко.

– При Сталине больше порядка было, – со злобой.

16 мая 1966

Хорошее, щедрое письмо от Ю. Казакова.

Первое письмо от настоящего писателя.

Сразу признался в тройках.

22 мая 1966

...Спор, дискуссия, поучения, ругань. Быков, отец, я. А также Пастернак.

– Не хочу из-за Быкова терять сына.

И все такое.

Москва, 10 октября 1967

Главное здание МГУ

Б-222 правая

Неизбежно обращаюсь к дневнику, когда начинаю запутываться, это уж ясный признак неблагополучности; а тут еще чувствуешь уходящее время, ощущаешь всеми волокнами души, так волей-неволей засядешь.

Прикинем итоги. Через 3 м-ца мне 20 лет.

Я в столице (добился желаемого). У меня есть доброжелатели в литературе – К-в, Р-в, Б-в. Я должен работать... Работать над прозой – это главное, главное всего.

Университетские занятия должны идти ровно, иначе заберут нужное время.

Английский язык. Заниматься каждодневно.

Философские занятия. Я не могу идти искать наощупь. Должно оформиться идейно. Труды Ленина по ист. КПСС изучать сознательно. Философов – начиная с древних.

Вот четыре основных занятий.

Остается два трудных, проклятых вопроса: друзья. Женщины...

13 октября 1967

Недоволен собой. Нарушил свои нормы общения. Много и дружески выболтал Эпштейну, врал и хвастал. О женщинах не вспоминать и не говорить. О работах тоже...

*15 октября 1967*

Воскресенье, солнце высвечивает геометрически равные фигуры на здании – вверх смотреть – университета. Где-то все музыка...

Все утро пишу. Разложил страницы вчера и сегодня написанного на полу, и продолжаю...

Не пришла она.

*16 октября 1967, 18.10*

...Бурный взрыв радости... Бросил я, едва перевалив через первую тысячу слов, нудный рассказ «Гололед»... и теперь – измочалюсь, а – напишу сильный, давно замысленный рассказ «Мертвый час, изгой», – зря только название дал знать Эпштейну.

Буду слушать лишь себя; а прислушиваться только к величайшим – вот как Фолкнер, – а средних, наших, любить, а потом... любить, как первую любовь.

*17 октября 1967*

Болван! не познакомился с этой венгеркой, не заговорил с ней, ведь ты уже знаком с ней больше месяца – взглядами. Такой упустил случай!..

Добил меня Жид. «Что мне кажется сейчас крайне устарелым, так это нерешительность влюбленного» (8 янв. 1932 г.) Убил.

Только что был на выступлении Грековой. «По-моему, Солженицын – великий писатель». Говорила, что он все смеялся, с бородой и розовощекий, – единственная встреча в редакции.

Начинающему? «Очаровываться в меру своих способностей, чтобы неизбежно разочароваться»....

К себе:

1. Больше жесткости, недоброты. Больше любви, нежности, чуткости.

2. Говорить громко. Говорить хорошо. Ставить цель разговору, ясно знать, к чему он должен привести.

3. Не делать жестов. Жесты выдают...

На ночь читал Феогида, Анакреонта, Ивика.

*20 октября 1967*

...I. Решил достойно встретить двадцатилетие. Вот список рассказов, к-ые я положил себе написать к началу зимних каникул:

«Мертвый час, изгой», «В гололед», «Холмы», «Истинно, истинно говорю», «Кладка», «Тренер» (сад туманный), «Перемена», «Писатель дома», «Юные», «Позади нас дом красный».

Названия ориентировочные. Но 40 000 слов я должен написать: 150 листов машинописи...

*Октябрь 28, 1967, 0.00*

Принял сто граммов; трезв. Э. был косой: «Девять лет, и я переверну мир!»

*20-28 октября 1967*

...Огромное душевное впечатление оставило чтение 41, 42 тт. Толстого – его «Круг чтения», – дни, когда я жил по-настоящему, читая, выписывая, проникаясь простыми и великими мыслями...

Вышла новая книга Битова – «Дачная местность». «Сад» его побудил к писанию. Не писал. Полюбил его еще больше, – его, человека в нем.

Открылась мне мудрость: жить настоящим, делать сейчас, жить просто, добро, трудолюбиво, ныне, – и стало мне легче как-то...

*Октябрь 29, 9.37*

Я живу в прекраснейшей стране: мне бесконечно и до слез дорога ее – а значит и моя – жизнь, я ощущаю себя в этом всесоветском потоке; никогда не уеду отсюда, – никуда...

*18 декабря 1967*

Самое трудное для меня сейчас – это преодолеть сон. Это первое и главное. Одинаково трудно заставить себя лечь и принудить встать из постели утром. Усилие необходимо дважды в сутки: в 11-12 и в 6-7. Дневная сонливость не находит на меня здесь. Изо дня в день я буду вести борьбу с ним, а когда привыкну, займусь другими недостатками. Дневник должен регистрировать мои усилия; ведь только они зачтутся нам (это первое, что надо вспомнить проснувшись, а второе: настоящий момент = решающий момент твоей жизни...)

...В подобные критические минуты меня охватывает желание подчинить свою последующую жизнь (когда кризис пройдет, а он поэтому должен благополучно разрешиться – потому что после я буду другим, хорошим) разумным началам. Вот и теперь я задался вопросом: а что же я сделал за эти 4 столичные месяца. Не сделал же я самого главного: ни на йоту не приблизился туда, куда стремлюсь.

Если сессия пройдет благополучно:

1) Каждый день оставаться работать на фак-те или уезжать в ВГБИЛ и там работать, и в общежитии уже только отдыхать. 2) Знакомиться только с теми людьми, к-х ты уважаешь, которых считаешь лучше себя, которые так или иначе связаны с тем делом, посвятить жизнь которому решено. 3) Знакомиться и добиваться женщин красивых и старше возрастом. 4) Говорить, когда необходимо и молчать, когда слова ни к чему. 5) Привыкать говорить или молчать – с твердым выражением лица или с улыбкой. Согнать с лица эту добрую, постоянную в разговорах с женщинами улыбку. 6) Всякое дело – хорошо ли, плохо – доводить до конца. Поэтому, когда берешься за дело, всегда знай, что его придется довести до конца, а поэтому хорошо обдумай: стоит ли начинать. 7) Наконец: жить настоящим, всегда имея в виду цель и смерть. Жить одному, наедине с собой, никого не допуская до внутреннего себя. Только на бумаге.

*МГУ, 1-5 января 1968*

Новый год встретил в Ленинграде...

Сегодня к вечеру угрызения совести за ненужно, ненаправленно (и уже грешно оттого) и грешно оттого, что грешил намеренно, проведенный день. Бог мой, из чего складывается моя жизнь. Учителя берутся сделать своих учеников хорошими людьми – никогда этого не добиться; важно посеять в юной душе зерна стремления к тому, чтобы ощущать себя истинно прекрасным и довольным собой человеком; а отклонения от этого направления неизбежно будут отмечаться той постоянной неудовлетворенностью и раскаянием. Важно постоянное стремление к Я-идеальному. И все же этого сознания недостаточно для меня.

Попытаюсь подобно молодому Толстому регистрировать проявления своих разнообразнейших, отклоняющих, дурных влечений, — подневно.

1) Взять сегодняшний день. Вчера засиделся – за чем, не помню – поэтому встать вовремя не встал, но и сон был нехорош, потому что во время сна испытывал раскаяние. Однако не встал. Лень, изнеженность. Телесные чувства одолели духовное.

2) Встав, не знал, что делать: ехать ли на факультетскую библиотеку, или заниматься дома. **НЕСОБРАННОСТЬ** (тут одно вытягивает другое, поэтому очень важно хорошее начало).

3) Днем съел один за другим четыре апельсина, зная, что (если не в пользу) то во вред. Однако съел. И тут телесное победило. **ОБЖОРСТВО**.

4) В библиотеке взял книги, которыми заниматься не могу по недостатку времени (завтра экзамен). Неумение определить то, что нужно в данный момент. **НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ** (сродни второму).

5) Ишван позвал слушать пластинки – пошел, слушал его разглагольствования, притворяясь, что интересно. **ПОДАТЛИВОСТЬ**.

Живи один

Настоящий момент – критический

Nulla dies sine linea. Memento mori

Утром каждого воскресенья – писание писем.

6 января 1968

Письмо от А. Б-ва

Проснулся в 9; до 6 был на факультете: сдавал; сдал: фольклор: удовлетворительно. Не ропщу. 6–8 – впустую ушедшее время. 9–0: «Д», у итальянцев (Пьетро, Антонио, Анна-Луиза), марокканец, неприятный. Пил приятное десертное вино Romonie – болгарское: 1 1/2 стакана. Лег в 3 ночи.

Осуждать себя не могу, потому что от себя мало зависел сегодня (экзамены). А потом нужно было рассеяться. Думаю, что не худший способ выбрал: итальянцы, они живые и хорошие ребята.

12 января 1968, 0.25

Правило. Непосредственно перед тем, как почувствуешь, что можешь переступить черту запрета, который сам наложил, – к примеру: перед тем, как ответить согласием, когда предлагают выпить; взять карты в руки и т. д. – возьми и напиши на бумаге предполагаемое действие и последствия: посмотри на листок немного.

- 1) Знай, что настоящий момент – критический
- 2) Memento mori
- 3) Живи один

1) Толстой, когда ему было – по-моему – за 80, взялся вдруг изучать греческий язык. Он занимался им всю зиму, забросив совершенно все дела; ночью спросонок говорил по-гречески. Так надо. (А он уже написал «Войну и мир»).

2) Вспомнил рахметовское правило. Читать только лишь самобытное. Взять его себе (книги по науке, философии, искусству). Меньше, да лучше.

Перед сном читал Lawrence *Letters*.

14 января 1968

Встал в начале 12. – Перевели мне письма жен – Лар. Иос., Майи Васильевны (были напечатаны в *Forum'e, Vienne*). – Странное чувство, когда думаешь, что это происходит сейчас, в эту минуту; и я ловлю себя на мысли: все сюда не пиши: опасно. – Сегодня узнал о деле Гинзбурга. Я не волен совладать с тем чувством, которые вызвал процесс и приговор (7 лет): гнусно, грязно, постыдно. Совестно. Как современно звучит Толстой: «Не могу молчать!» И мне хочется бежать к людям, где понимают, где возникает единство чувства и сострадания, к людям, которые не молчат...

Профессия, которой я намерен посвятить себя, — и внутренне и — сейчас – внешне: опасна для жизни.

21 января 1968, 16.25

С этого дня мне пошел двадцать первый год, и хорошо бы провести весь год так, как я провел этот день: одиночество, плодотворное, очищающее душу, отсутствие влияния, спокойствие, – вот когда зреют творческие думы. Душевное затишье: ничего не желаю.

Мысли о повести или романе... нет, нехорошо: о книге; снова вижу эту девушку и ее окружение. Почему-то вспомнил «Пора...» и подумал, что «Пора...» дрянь, неискренняя. То-то у меня будет книга!

Но сначала, уединившись на каникулах дома, я просто, чисто напишу один рассказ, думая о котором я недавно не сдержал слез. И не нужно заглядывать вперед, не нужно навязывать себе правил – нужно просто каждое мгновение жить сообразно с желанием сердца и головы. Зачем брать с кого-то пример, когда этот пример у тебя в душе, и пример этот истинный, т. е. ждущий воплощения, ты сам.

*21 января 1968*

третий час ночи

...Вот уже 3 час, как мне 20 лет. А столько нерешенного и необдуманного.

*25 января 1968*

После пяти, ночь, 26 утром – у А. Битова в Токсово.

– Зрелому человеку нельзя жить в нашем гос-ве. Оно убивает его. Оно или убивает все в нем, или убивает его самого.

– У нас же везде ищут против Советской власти. Мне же не было никакого дела до этой ерунды, у меня было серьезней. – Помолчал.

– Поверх барьеров...

*14 марта 1968*

Будет машинка, буду писать следующие интроспективные вещи. «Ухтомский».

1. Сновидения
2. Дневник. У. мысли.
3. Записки

...Правила к записям:

1. Быть предельно правдивым. Обязательство быть правдивым в дневнике, быть может, удержит меня от постыдных поступков... Глупо давать беспристрастное описание. Дневник должен быть живой жизнью Ухтомского; так чтобы можно было проследить его направление.

В столовой думал, что же такое талант. Свойство честно видеть мир и себя, вот что такое талант, а не способность к аллитерациям, музыкальности, живописности. Просто очень – видеть и писать полную правду, стремиться к правде. И мне открылось писатель-



ство в своем новом качестве, когда я поднимался по провонянной кухней лестнице 5 корпуса на 4 этаж.

Меня тянет написать воспоминания, чтобы освободиться от детства. Вот и Толстой писал в юности о Детстве...

Очень много бумаги будет накапливаться у меня. 780 листов дневника в год; 3500 в 5 лет. (Писать через 1 ½ интер.), – не считая других бумаг.

Молодой Толстой писал: предмет сочинения (т. е. мысль его) должен быть высоким (предмет может быть и низким)...

Помнить, что дневник пишу главным образом для того, чтобы исправить себя, а не для людей, которые будут читать.

Приучить себя к мысли, что он погибнет ненапечатанным.

15 марта 1968 я начал «Ухтомского». Какое приятное чувство узнавания своей жизни на бумаге...

«Франклиновский журнал студента Небольсина»

*17 марта 1968, л. 45*

Для меня ясно одно – что взрослой жизни, о которой я думал серьезно в отрочестве, такой, какой я себе представлял, – ее нет, и для меня ее не будет. В 16 лет я думал о том, как изменится мое самосознание в 20 лет, но оно неизменное, и я сейчас в 20 лет сознаю себя так же, как и в 13 – возраст иллюзий о будущей жизни; иллюзий, которые вдруг ушли.

Но жить подобно тому, как живут окружающие меня люди, я не могу, не хочу и не буду, и один Бог знает, куда я приду в своих поисках истинной жизни. Если же я [суть] лишь желания и стремления к ним, к поискам, то единственный выход отсюда будет самоубийство. Господи Боже, не оставь меня в стремлениях к тебе и в поисках Тебя. Помогите мне Господи.

*МГУ, 14 февраля 1969*

Чтобы заботы не сминали, надо подняться над ними; для этого необходимо уметь все день ото дня возникающие мелочи приводить в одно направление, мнимые сложности приводить к простейшему.

Чем больше я захвачен надеждами, тем спокойней и устойчивей должен быть. Что я должен помнить, чтобы хранить покой, и чем руководствоваться в сиюминутной, сейчасной жизни?

*Следующим.*

Прими все. Прими, проживи, прочувствуй, перестрадай, переживи все внешнее, от внешнего зависящее, от других людей, от другого человека, даже от любимого, даже от единственного; прими все. Невыносимую муку – вынеси. Будь со смертью вплотную – и все же выживи, выдержи, вынеси, спасись.

Мне 21 год и 24 дня... До 25 лет мне... 4 года. 365х4 – 1460 дней – как мало. А до 31 – 3650. Тоже немного.

В 1969 году мне остается 320 дней. Обидно отпускать дни так, как предыдущие 7694. Обидно проживать их подобно другим, когда решил, что твоя жизнь будет совсем, во всем иная, чем известные мне жизни современников. Среди них я не знаю ни одного человека, преодолевшего все препятствия и идущего к освобождению. Все удручающе сродни друг другу. Во всех одно и то же плохое. И во мне. Мое отличие от других в том лишь, быть может, что, осознав с течением времени и с великими переживаниями то обстоятельство, что плохое во мне вполне соответствует плохому в другом, в каждом, во всех и ничем особенно не отличается, кроме, допустим, степенью самобичевания, присущего моему плохому, приносимому им в мою жизнь. Разница в том, что я не опустил, не расслабился, и никому не передал ответственность за себя и свою жизнь, за то, как и чем я ее наполню. Мне не легче оттого, что плох другой. Меня оскорбляет и угнетает такое равенство. Я постоянно хочу быть лучше, чем есть, сию минуту, один или среди других, в любых обстоятельствах хочу быть лучше себя – недовольство собой, вечный неприятный осадок после разговора, в котором я вел себя не так, как хотел на самом деле, после общения с другим, после дня, прожитого противно моему внутреннему мнению на то, как я должен был его прожить, – все это приметы если не самого роста, то расположенности и стремления к нему всего моего существа.

Однажды в памятном письме она назвала меня *лучшим из людей*. Им я хочу стать, лучшим человеком, и прожить хочу лучше других. Все мои силы отдам только этому. 2 часа ночи.

*18 февраля 1969*

...Стисни зубы и приучайся не жалеть себя в своем одиночестве. Нужно свыкнуться с тем, что ты всегда один на один с собой. Самое страшное – надоесть себе.

*18 марта, днем 1969*

...Писать в этой тетради дневник решительно не могу. Какой-то этап времени отошел, а предыдущие записи лишь вызывают лишние, ненужные воспоминания. Во многом я изменился – в отношении ко многому. Да и прежний образ ведения дневника стал меня раздражать, так же точно как формой и неприглядностью этой тетради.

*30 марта 1969*

Неужели я так и погибну в самом начале любви, в начале таланта, в начале жизни. Похоже на то, когда чувствуешь эту подбирающуюся боль. Возможности любви и дара – откуда были они во мне? – уйдут вместе со мной. Что может быть хуже не узнать – на что ты был способен в жизни? <...>

Еще не сейчас. Год назад, 1 апреля, был близок к Богу, ~~род-сущая~~  
~~чувствую близость~~

Я сегодня, 30 марта, умираю больше, чем на день: каждая минута этого дня для меня мера не времени, но страдания.

Умру один – а все они, кто жил возле меня, вблизи меня, останутся по-прежнему дышать и доканчивать жизнь в суете, а если я один говорю, что жить надо иначе, почему не живу (страшно сказать – не жил).

Все. Боль идет. Все.

*11 ноября, вторник, 1969*

Целый месяц не писал дневник и вообще не писал ничего, кроме редких писем... Утром читал в постели повесть В. П., подаренную вчера, читал, волнуясь, и очень, давно уже этого не было, захотелось писать, хотя бы только дневник. И как обычно вылилось это в поиски подходящей тетради. Однако не нашел...

*13 апреля 1970*

...За ушедшую неделю совсем ничего не делал, писать не получалось, отмечу только замысел «Мгновенных микроисповедей» и две прочитанные работы: «Содержательность худ. форм» Гачева и «Эпос и роман» Бахтина.

*6 июля 1970*

...Я чувствую потребность взяться за большое дело романа. Спасение от абсурда жизни – в литературе, в работе, в писательстве масштабном, с расчетом на долговременность книги.

Роман об университете, страниц в 500-600, необходимо компромиссный; но и эту характеристику можно обратить в достоинство, если отказаться от частной точки зрения и от позиции сочувствие-негодование.

Сначала – вопрос формы.

*4 декабря 1970*

Промежуток между датами вместил целую жизнь.

Ночью, с 8 на 9 сентября, в Москве, случился со мной острый приступ с обильным кровотечением, днем увезли в больницу, 4 Градскую, пробыл там до начала ноября, потом сутки в Ленинграде, встреча с Ингой П., потом Минск, жизнь там на транквилизаторах и снотворных, объяснение с родителями из-за моего решения жениться на Елене, отъезд, семнадцать дней в Москве, потом спонтанно-подготовленный отлет в Минск, где встретил Елену, уже взявшую билет на утренний самолет в Донецк, двое суток в загородном отеле, совместное бегство с намерением никогда не возвращаться более, и вот Москва, уже несколько дней живем в кредит, финансовый и жилищный. Ну да это так, информационно...

*Солнцево Московской обл., 9 августа 1971*

Добрался до 50-й стр [своего первого романа].

Перед сном говорили о страхе.

Сюжеты:

- (1) Библиотека для одного – старый и к-ый невозможно теперь осуществить из-за комнаты Мелькиадеса.
- (2) Персонаж из пометок на полях – тоже старый
- (3) Мусорный ящик (with head)
- (4) Роман о постоянном страхе: Страх страха – Госстрах

Общественная эволюция страха – от пещерного как источника религии – до моего века. М. б., XX один из самых религиозных периодов в истории.

Страх – человеческого – die Mutter

Не-человеческого – der Sohn

Страх, приходящий извне и внутренний, когда человек, сознательно и изощряясь, наделяет действительность элементами страшного. Неистинно страшное.

Страх, особенности, лица. Боишься самого себя, потому что *не совпадаешь*.

Самосуд – логическое завершение.

Что страшного может случиться с человеком? Страшно ли — тюрьма, лишение прав, лишение собственности, пытки, болезни, потери, — если все это еще не смерть, а если она не страшна?

Корни страха в тебе самом. Пределы его тобой обусловлены.

Смех – смерть – страх – смерть. Смех – преодоление страха. Смех это свобода. Страх, это рабство.

Манеры страха. Образ страха. Степени страха.

Мания освобождения, свободы...

17 июня 1973

Москва, Новопесчаная, 21

Еще было темно, когда Аурора разбудила меня. Постель под ней была мокрой и холодной, и я отдернул руку.

– По-моему, началось...

Еще не было пяти.

Я вышел. Спустился с крыльца на асфальт, который лоснился от росы. Птицы еще спали. Территория была обнесена бетонным забором. Сама клиника – большое, пятиэтажное здание из белого дорогого кирпича – напомнила мне школу.

Асфальтовой дорожкой я обошел здание по периметру, взглядывая на окна, часть из которых на первом этаже была целомудренно забелена.

Потом я вышел на улицу.

Здесь ходил автобус: я увидел столб с гнутой жестяной дощечкой. Но городской транспорт еще спал.

Напротив, за поржавелой оградой, был парк – старинный, запущенный, сумрачный.

Я пересек проезжую часть, нашел пару прутьев, раздвинутую кем-то очень сильным, и пролез. В зарослях отцветшей сирени обна-

ружил скамью, опрокинутую вверх чугунными ножками. Восстановил порядок и лег на ребристые рейки, изрезанные ножами в порыве посткоитальной энергии. Я был в одной рубашке, и перед восходом солнца меня охватил озноб. Я подложил сложенные ладонями руки под щеку, подтянул колени и сквозь прорехи листвы стал смотреть на белое здание клиники.

Потом закрыл глаза, но не уснул: мешало тиканье наручных часов. Не давала спать тревога. Кому же я – все еще вольный, все еще одинокий парень – стану сегодня отцом?

Отец... это было смешно.

Ко мне это было неприложимо.

Но время моей свободы истекало. Вдруг я, неожиданно для себя, стал просить Бога...

Я поднял воротничок рубашки и с усилием застегнул пуговку. Трясло меня, как на грани эпилепсии.

Во двор клиники въехала скорая, потом еще одна. Машины появлялись с промежутком в четверть часа, выгружая женщин на сносках. Приехал огромный, шестидверный «мерседес» с дипломатическим номером. Из него вышла японка в кимоно, и это меня немного успокоило: в плохой роддом рожать японку бы не привезли.

Я заставил себя расслабиться и задремал, обнявши самого себя.

В полдесятого утра вышла медсестра и огласила список новорожденных. То есть фамилия роженицы – и вес. Самый тяжелый ребенок весил 3.500, самый легкий – 2.800.

Фойе было битком: за каждую роженицу болели целые семейные общины, которые начинались принарядившимися бабками и кончались девочками. Мужчины все были пьяны – утро не утро. В одной группе, у которой родился мальчик, заиграли на гармонии марш «Прощание славянки», а в другой, где родилась девочка, стали вышучивать отца, толкая его в плечо: «Эх, ты, бракодел!..»

Были дети, параметры которых ни у кого не вызывали реакции, что означало: быть матерям-одиночкам.

Один отец стал требовать, чтобы сына показали ему по телевизору, а когда узнал, что временно не работает, стал засучивать рукава, собираясь тут же починить; его вывели во двор.

Кто-то горько плакал, сморкаясь в платок, кто-то хохотал.

Цветы всем возвращали, объясняя, что негигиенично.

У меня была девочка, три сто.

В центре, на улице Горького, я отстоял очередь за сирийской зубной пастой «Сигнал», двухцветной, красной и синей, и сделанной

по французской лицензии. Еще я купил мыло, хоть и мужское, но изготовленное в ГДР, а кроме того — зеркальце и гребешок. Заехав домой, я налил кипяченой воды во флакон еще зеленеющих на дне духов «Герлен» — чем не eau de Cologne?

Рубен с Наташей все еще спали, простыня сползла с их тел. Ничего, все будет и у них...

Я вынес пишущую машинку на кухню и настучал бессвязную записку. Такой записка получалась не намеренно, но, осознав это, я выдержал стиль взвихренности чувств.

Все это я отвез в клинику.

Дождавшись ответа, вышел во двор, обогнул здание и влез на карниз под назначенным окном в первом этаже. Кровать Ауроры стояла впритык к окну, которое не открывалось. Осторожно, напоминал я себе. Не выдави стекло... Стоя на карнизе, я дождался приноса и раздачи детей роженицам. Вот она, моя дочь!

У моей дочери было миниатюрное, но очень точно, филигранно точно обозначенное лицо, даже с выражением сердитости. Рыжеватые волоски липли к лысине.

С минувшей ночи Аурора изменилось. Живот исчез. В огромных глазах возникла глубина. «Материнская», – сказал я себе, целуя на прощанье оконное стекло.

## МИЛОСТЬ ЖИМОЛОСТИ, 1977–1984

*Париж, конец 70-х, без даты*

Последним образом жизни, на глазах уходящей влево и в прошлое, была Берлинская стена, все это забетонированное, зацементированное, залитое прожекторным светом и автоматически простреливаемое пространство перед ней. Взгляд мой зайцем метался между этими невидимыми траекториями, пытаюсь избежать, тогда как я, один в запертом купе, держался за поручень открытого окна. Поезд постукивал по железной эстакаде над этой жуткой мертвой рекой, потом я увидел обратную сторону Стены, размалеванную граффити и никем не охраняемую, то был уже Запад, Западный Берлин, огни машин неслись по автобанам на огромной скорости, человек в одиночестве играл на рояле в своей вилле, люди сидели за ужином, и не хотелось, чтобы Запад кончался, но я знал, что до Федеративной Республики предстоит еще ночной кусок ГДР, по-

этому докурил, лег на спину, закрыл глаза. Чувство было – невероятности...

Первое, что поразило меня в Париже на Гар де Л'Эст, это полное отсутствие красного цвета. Никакого кумача. Чтобы понять мое визуальное блаженство, напомним дату высадки: 7 Ноября 1977. Советской власти, покинутой в Москве два дня назад, исполнилось бо. Но здесь по этому поводу никто не ликовал.

На выходе с перрона меня остановил патруль, два полицейских, один в штатском, который кивнул на тележку с моим багажом:

– Базука?

Отныне не бедный родственник, я вез с собой в подарок белый параллелепипед, длинный и толстый. Поскольку вопрос был задан добродушно и не без юмора, я тоже усмехнулся и вытянул из футляра конец киноэкрана. «Но. Синема!»

– Альман?

– Но. Рюс.

Взглянув на мой паспорт, ажаны успокоились, я не мог быть членом «Роте Арме Фракцион», на фильтрацию которых после убийства Шляйера они сюда были брошены, но штатский еще не готов был меня отпустить:

– Месье кинорежиссер?

– Писатель.

Теперь они все смотрели на меня с благорасположением. Экривэн рюсс. Своим недавним турне по Европе Солженицын весьма укрепил этот статус у правых сил, к которым они, несомненно, относились.

– Приехали в Париж писать роман?

Это было не совсем так, и, во всяком случае, согласно выношенным планам, Париж был только промежуточным пунктом моего путешествия на край, но для простоты дела я кивнул.

– И правильно! Здесь за роман в ГУЛАГ вас не посадят. У нас, месье, свобода. – Это слово он произнес, слегка нахмурившись и посерьезнев, после чего сделал широкий жест рукой. – Allez-y!

Снимая тележку с тормоза, я надавил на нижнюю рейку пятками ладоней – новый для меня жест.

*Париж, без даты*

По эту сторону. Он рвется в небо, она в почву. Он – жить опасно, она, наоборот, пожив.



Наконец они переехали. В Бельвиль. Рю Рампонно, 21. Три комнаты на четвертом этаже.

*1 марта 1978*

Я натягиваю толстые шерстяные носки, вбиваю ноги в черные сабо, которые, вопреки национальному происхождению этой обуви с открытой пяткой – какому, интересно? Средневековому... внутри имеют золотую надпись *Made in Sweden* и куплены с никелированного лотка на рю Бельвиль за 90 франков. Сольды.

Я поднимаюсь посреди комнаты – в свитере и синих вельветовых джинсах. В сабо я чувствую я себя высоким, но непрочным. Собыют с копыт. Коровьих, на которых переходили границу задом-наперед в картине, которую видел на Невском в детстве. «Горными тропами»? Чувствую, что пересечь Париж в этой обуви можно. Но драться нельзя, останешься в носках на тротуаре. Задний ход исключен. Только вперед.

– Что ж, – говорю я, намотав за неимением другого верноподданный сине-бело-красный шарф и застегивая на нем замшевую туфурку, оставленную шурином, сбежавшим в Мадрид. – Если не вернусь, считайте антикоммунистом.

Библейские глаза мне отвечают состраданием.

Сабо гремят на лестнице, но это не самое страшное в перспективе пути через весь город на пригласившую меня «Свободу»: несмотря на носки, сабо мне передавливают подъем.

*Париж, 1 сентября 1978*

Позавчера вернулись из Бретани; в карманах моих джинсов еще атлантический песок. Никогда не думал, что выйду к океану. Сон... не помню, какой был сегодня сон, но как обычно это географическая смесь Союза с Западом, противоестественная и кошмарная. Перед тем как проснуться, я не знаю, что меня ждет. Я просыпаюсь в полной неуверенности относительно места моей жизни. Поэтому каждым утром Париж как возобновляющийся дар свободы. Необитаемый остров. Я боюсь разучиться языку, боюсь утратить точность интонаций. Надо говорить вслух. Вот, говорю... Язык, единственный способ выжить. Это очевидно. Свой язык. Мой. Год спустя после разрыва с гибельной родиной я все так же мечтаю написать роман, а пишу рассказы, и это страшно, разменяв третий десяток на малые формы прозы. А писать хочется, и все о любви, о том, как это на самом деле было в Союзе, не с дистанции раскаяв-

шегося грешника, а с прежним задором и безудержом. Ретроспективно засвидетельствовать о том, что мы все-таки жили и были. Меньше, как можно меньше «жизни», и как можно больше работы.

*Франция, Монтрей, 28 декабря 1980*

Если я вновь, после перерыва в 8 лет, полон решимости вести дневник, то только потому что ощущение связанности достигло в эту рождественскую неделю апогея невыносимости. Мне просто необходимо снова увидеть себя в честном зеркале дневника, который оборвался давным-давно, еще в СССР. [Почему?] Я предпочел диалог монологу, вот и все. (Какое горькое наслаждение, однако, предаться автобиографизму, который Томас Манн назвал «аристократическим», подозреваю, для самоутешения.)

Туман после полудня не рассеялся. Побаливает голова. Ломит поясницу. Душа полна горького дыму. Скоро мне 33. Так странно: я все еще живу, все еще существует во мне тот сомнамбулический и пылкий подросток, который так рвался из дому: хоть куда, хоть побродить по мерзлой свалке в январский вечер. Я не люблю своей «юности». И «зрелости» тоже не люблю. Отрочество — вот моя естественная эпоха. Когда на морозе сердце омывал ключ кипящей крови. Я не могу сказать, что так называемая «жизнь» меня обманула, потому что те мои экстатические моменты не имели ничего общего с «обдумыванием житья», это было просто предельное напряжение души перед тревогой, перед зиянием, жутким зиянием будущего.

(Когда раньше я вел дневник, я часто, конечно, эпигонски, а ля Толстой, адресовался к «Господу», «Отцу» и т. п. Сейчас, чувствую, запись не ищет вывести меня за границы «меня», если мне в себе и не уютно, не комфортабельно, то все же как-то стало самодостаточно. Сам себе собеседник. Можем остановиться на углу улицы в дождь. Можем насладиться друг другом и в полном бардаке. Прогресс, явный прогресс в саморазвитии...)

Не вполне понимаю, что я хотел сказать посредством вышесказанного. Во всех предложенных мне этой реальностью ролях я — к 33-м — оказался одновременно несостоятельным и преуспевающим. В качестве писателя могу уже полировать свой саркофаг (но пусть лучше он останется пустым). Кстати, раз уж об этом речь, сегодня мне приснилось, что дали мне премию, одну из 70 французских премий, с каким-то чрезвычайно маргинально звучащим названием, не могу вспомнить, но там вроде бы в названии «Теофраст»

монтировался с цифрой VI (этак мелко, дробно, по-западноевропейски). Книга моя была опоясана алой бумажкой. Я (во сне) делал вид, что предаюсь ликованиям, на самом деле мной владела привычная ироническая тоска, но от чего? Не от того [ли], что премия была (отрицая свою этимологию) далеко не первостепенной? Вот в чем вопрос. После изнурительного дня на пару с Эсперанс, с дочерью, мятежно проявляющейся на заднем плане, после дня, а также части ночи, посвященных болезненной проблематике сексуального освобождения (не менее чем!), несколько неожиданно было увидеть сон о литературе. Вообще что-то увидеть. Последние годы мной владеет «лирическая амнезия, попростому говоря, отшибло как-то память на сновидения. Но как приятно это занятие, дневник! Как славно медленно, но, верно, с нарастающей верностью, погружаться в субъективное, индивидуальное болотце! В таком гнусном настроении садился, а вот чувствую, уже прояснилось, разгулялось на душе, и море жизни по хуй мне...

*В тот же день*

– Ты освобождаешься только через агрессивность. Я аристократическая женщина. Подпольные страсти мне скучны, – говорит Эсперанс, играя на гитаре свою, пожалуй, единственную мелодию, которая, можно сказать, сопровождает ее в этой жизни (из Пако Люсиа).

– Дневник пишут для самоутверждения, – говорит она. – Это маленькое «я», которое подпрыгивает: «Я! Я!..» А роман – это правда. Это – подсознание...

– Я живу для литературы. Для чего же живешь ты?

– Для кайфа. Для того, чтобы чувствовать себя свободной.

– Почему ты тогда живешь с погибающим писателем?

– Я не считаю, что ты погибающий писатель.

– Отсутствие материала для письма, пищи для размышлений, огня вдохновения, который возгорается из дружеского общения с себе подобными, разговоров о литературе, и проч., есть моя гибель как прозаика.

– Ты прекрасно знал, что, уезжая, ты выпадаешь из своей литературной среды.

– Ты мне ту среду тоже запрещала, так что ничего я не потерял в этом смысле. То есть, став жить с тобой, я изъясил себя из оборота в литературной среде.

- Ты тоже перестал пить.
- С Эпштейном мы пили мало, но говорили сутками напролет.
- Против Эпштейна у меня никогда ничего не было, я была против походов в ЦДЛ, откуда ты возвращался пьяный. Я изъяла тебя, чтобы ты написал свою первую книгу. Потом изъяла еще раз и посадила за французский стол, чтобы ты написал свой первый роман.
- Но вот я изъятый – и что?
- Ты изъят не мной, ты изъят обстоятельствами. Я не виновата, что тебе пришлось, чтобы писать, уехать от Эпштейна и от других людей, которые тебя подпитывали. Не я отняла твоих друзей...

*Париж, рю де Пуату, 11 декабря 1981*

Смотрели с Э. по телевизору «Вкус sake» Озу. При этом я вспомнил, что Матусевич, чья третья жена – кореянка из Сеула, говорил о том, каким островочком воспринимается Европа, глядя оттуда, из Азии. Сходное чувство я испытывал в Таджикистане, когда Эсперанс была в Париже, особенно ночами.

Вышел после фильма на желтую кухню, сел перед машинкой и услышал – был второй час ночи – как ебут француженку. Открыл окно. Ебли внизу, в пристройке. Его словно бы и не было, полное акустическое отсутствие, а голос девушки, значимый в каждой синкопе больше, чем в двух самых тривиальных (но воспринятых мной как откровение) фразах: «Люблю, люблю» и «Как хорошо», которые возвращались, как будто голос был колесом, рулеткой – вот именно, и у меня было чувство, что я поставил все, что у меня было, все свои почти 34 годика, и, чтобы не узнать, что мимо, что промахнулся я, я закрыл окно наглухо.

Вот он я – по сю сторону случившейся со мной жизни...

И все это случилось, и Россия с вкраплениями советизма, словно бы не со мной. Вот я сейчас пишу, чтобы избыть слегка и чтобы легче стало, но внутренне как будто плыву в ночи над жуткой глубиной: и назад, нельзя, и вперед вряд ли доберусь. Присутствие скорби.

Сегодня была Анна Валь с началом своей рукописи. Читал я, скрывая угрюмость, и раздражительную ностальгию: через месяц у нее будет Япония, и советский опыт она завяжет в мешок своей книжки. Для нее это период. Одна из тем жизни. А для меня и Франция, в которой вот уже четыре года сижу за все лучшими машинками, темой не становится и не становится. Не чувствую я ее. Презираю

я ее «милость и жимолость». То есть, за вычетом всего позитивного, в конечном итоге все же отрицаю.

Да и вообще ничто во мне уже не достигает неопровержимой самодоказуемой чистоты восхищения...

Господи! Без любви мне угрюмо, а стоит ей омыть меня, прихлынув на второй странице, как хоть волком вой. Неужели я все уже потерял? Всё еще живо, все, и мать, еще живые, можно дозвониться, некий баланс всеобщего, кроме бабушки, умершей в Ленинграде на моем втором парижском году, – но уже отрублено госграницей навсегда. И отравлено смертью. И я – я тоже тронут некрозом эмиграции. Хотя и больно, очень больно мне это сознавать...

Эсперанс сделала сегодня завивку и купила алые замшевые сапоги на средне-высоком каблуке. Ей 35. «Как же я такие смелые сапоги себе купила?» – безответно спрашивает она себя со вздохом – в то время, как я перед тем как погрузиться в черные (сатиновые, а не метафорические) простыни сна, смотрю на себя в зеркало: как же мама любила такого?..

Впервые эти стихи Ходасевича я прочитал в Минске, в Библиотеке имени Ленина, имея от роду лет 16 и грандиозные претензии к своей жизни. Чего-чего, однако, а эмиграции не предполагал тогда. Во всяком случае, не дальше Москвы.

*Париж, Пасси, начало 1982*

1. Сент-Уен – бульвар Понятовского – Бельвиль – Монтрей – Маре – Пасси – и все это начиная с ноября 1977, то есть за четыре с половиной года. Избыток Парижа. Перебор.

2. Воистину: география моя запутана.

3. В моей жизни вообще нет ничего однозначного, простого, прямолинейного: и формула крови, и жена, и путь. Будто кто-то нарочно закамуфлировал от меня – для неузнаваемости? или в порядке защиты? – первоэлементы. Я не ропщу. Я бы не поменялся с тем мудрецом, который познает мир не покидая двора.

4. Наши герои проще нас. Через них мы себя изъяснить не можем.

5. Я сегодня читал главы из нового романа М. Ему, должно быть, мучительно неловко в процессе письма. Подозреваю, что писать ему вообще мучительно, потому что ему стыдно – это чувствуется – обнаруживать себя таким, как он есть. В глубине души он отдает себе в том отчет, но на поверхности выдает труд стыда за муки слова. Самое печальное в его «романизированной биографии» то, что он трусит дочерпнуть до последней правды, отчего, возможно,

презирает себя. Человека добросовестного наедине с собой видно сразу.

6. Исчерпанность современных форм письма. Опрощаться – стыдно, искать адекват – страшно. Компромисс – вот источник современных книг.

7. Никогда не считал я Э. Б. за «великого», даже за «крупного», даже за способного лично мне что-нибудь дать писателя. Он сам персонаж, раздувшийся беллетрист, почти графоман, если взглядеться с холодным презрением – просто позор.

8. Я выехал не за карьерой в духе Э.Б., а ради возможности найти адекват. Поэтому от атмосферы мне тошно. Но этот рынок не заслуживает, чтобы его испепелять, поэтому мое отчуждение – верно. Неверно только то, что не выразил достаточной иронии по поводу навязываемого мне статуса «французского писателя»...

*Париж, без даты*

После ужина с аксессуаром из грибов Сен-Клу мне приснился сон: Неизвестно как, но я оказался в Союзе. Летний жаркий день, пустые пространства на юго-западе Москвы. Киоск. Я прохожу и возвращаюсь, заметив на прилавке стопку «Нашего современника». Это – мартовский номер, уже вышел, но до Запада, где я только что прочитал февральский, еще не дошел. Я читаю оглавление, журнал еще интересен моему западному видению. У киоска еще один гражданин, в очках, рубашке с короткими рукавами, в мятых брюках и туфлях на босу ногу: вышел по соседству. Типичный потребитель еженедельника «За рубежом». Он окликает меня по имени («Сережа»), когда я отхожу, произносит нечто благожелательное, вроде того, что «так держать!» Откуда он меня знает? Неужели за мной уже следят? Но потом я догадываюсь, что он узнал меня по г о л о с у, по фразе у киоска «Союзпечати»: меня – благодаря «Свободе» – знают в СССР.

*Париж, «Олимпиады», 29/30.8.82*

...Бог мой, неужели я уже спокойно отношусь к тому, что чудо моей жизни, то, о чем я горячечно мечтал в снегу на окраинах заводского района, в провинции, в СССР, на самом дне, – не состоялось? Чудо: способность все почувствовать, все принять – и вернуть преобразенным собой. Я так рано ощутил в себе эту мощь – вернуть, могучую силу благодарности за счастье жить, благодарности Богу, и это было так естественно! Почему я не вижу с тех пор этого

– моего – ни в ком? Все ведь Богом избраны. Не вижу. Все не то. И что я могу себе посоветовать? В снисходительности к ним, ко всем, делать свое, осознанное там, на дне, дело – славить Господа моего, славить, находя Его сквозь пелену бессмыслицы и отупляющего ужаса повседневной жизни, славить – и за ужас... Искать Его. Он исчез, заволокся. Но Он был – и я его знал. Это главное. Вернуть Бога. Вернуться к Нему!

Если Бог, это Творец, то личная борьба – и всеобщая – должна вестись за осуществление, сохранение или возвращение обратно вложенного в меня, в нее, во всех нас творческого начала, порыва созидать, создавать, породить из ничего – всё, из уныния – радость, из убийственной серьезности и принужденности – веселую игру. С Богом возвращается веселость, и необходимо вырвать ее у Дьявола...

(Спасибо за момент сознания).

*Париж, «Олимпиады», 15/9/82*

...Беда дневника в том, что вместе с дистанцией пропадает снисходительно-ироническое отношение к персонажу. Другим не судья, я начинаю судить себя...

*Париж, бульвар Араго, 29-30 ноября 1982*

...телефонный звонок: умер Казаков. 29 ноября 1982. В Абрамцево – под Москвой, в России, которая реальна только тем, что там еще живут любимые люди, но бабушки уже нет, и она умерла без меня, оставив по себе зияние пустоты. И вот еще одна дыра, и это не Казаков, это я, я умираю, тупо глядя на новенький кнопочный телефон, бесплатно установленный государственной компанией РТТ. Все в жизни медленно: тянется, тянется. А потом...

Как писатель, он умер намного раньше; быть может, он уже агонизировал в момент нашего знакомства, потому что в том декабре, когда я видел его последний раз, он уже сознавал, что родиться не сможет. На это у него уже не было сил.

– Кто это? – спрашивает Эспе.

– С работы, – говорю я, глядя на ее ступню, узкую, теплую, с всегда неожиданной родинкой, которую я целую прежде чем укрыть ступню одеялом. – К двум нужен материал...

– Сделать тебе кофе?

– Сам сделаю. Спи.

Выкатываюсь из постели, встаю, плиточный пол в сортире ледяной, в зажигалке газ на исходе, и я чиркаю несколько раз, прежде чем зажечь газ, а потом, запивая кофе первые затяжки, ознобливо проясняюсь – лицом к лицу... В шестой, нет, в седьмой раз сменили в Париже адрес. На этот раз попали на бульвар Араго, XIII-й. Трехкомнатная квартира, четвертый этаж углового дома, где кафе «Марижан». Меблированная: 20-е годы в спальне, тоталитарные 30-е в столовой, начало 50-х в детской... 2700 в месяц.

Переписав свой некролог, отправил его в Нью-Йорк, в самую старую газету эмиграции «Новое Русское Слово», добавив в сопроводительном, что от гонорара, разумеется, отказываюсь. За статью там платят долларов 30. Теперь, с падением франка, на эти деньги мы могли бы протянуть три дня. Мог бы купить дочери новые сапоги взамен старых, вернее, купленных только в октябре, но уже запросивших каши (а недешевые были, в магазинчике детской обуви напротив «Галери Лафайет», за 400 франков, итальянские, но оказались – говно). Мне не 17 лет, а скоро вдвое больше, и давно я уже не начинающий и трепетный, я уже сильно тронут цинизмом профессии. Но, кажется, еще не изъеден весь.

*Париж, бульвар Араго, 26 сентября 1983*

Вот об этом и роман: АГОНИЯ ЛИЧНОСТИ под напором нивелирующих сил. Позиция свидетеля апокалипсиса, как у Селина в «Ригодоне». В любом социуме. Против тоталитаризма может работать равная ему сила – отсюда тема «тоталитаризации» демократии...

ЧЕЛОВЕК С ГОЛОВОЮ СВИНЬИ, 1984–1995

*Мюнхен, середина 80-х, без даты*

Ты слишком много куришь. Ты тоже. Да, но я хотя бы это сознаю, пытаюсь бросить. Три-четыре пачки в день на двоих – это все же 12-16 марок. Ходим, как клошары, прокуривая в месяц по костюму с Максимилиан-штрассе. Да. Трудно. Не невозможно, но трудно. В детстве нас не любили – поэтому.

Ни детства, ни любви не вернуть. Брешь в семейном бюджете не самое страшное. Представь себе наши спекшиеся легкие. Сужение сосудов. Во что мы превращаемся. А почему? Почему мы не выдер-



живаем без сигареты длительность времени, давление бытия? Психологическая хрупкость. Нежизнеспособность. Солженицын, тот бросил курить.

Потому что у него надличная цель. Потому что он сознает себя орудием Господа. Его карающим мечом.

Давай лучше книгу напишем.

Давай. Про что?

Про нас.

Для чего?

Просто так. Досье на нас лежит, по крайней мере, в пяти разведках мира. Пополним его. А заодно и для себя кое-что выясним. Делать все равно нечего. Блокированы со всех сторон.

Давай. Только самую суть.

Суть, она прежде всего в нюансах. В деталях. С чего начать? С предпосылок. Как в старом добром семейном романе. Филдинг, да? Или со «звона колоколов», откуда Толстой советовал начинать семейные романы?

*Мюнхен, май 1986 – после Чернобыля*

Этой ночью Эсперанса писала, а на работу вставать ей в 6. Сейчас, вернувшись, она спит. Ей 39. Мы еще живы. Мы еще вместе.

Три недели назад машина сбила Тай-Тая. Это было как раз в тот день, когда уровень радиоактивной зараженности в Мюнхене достиг наивысшей отметки. Когда дочь его принесла, я пришел вне себя от ярости. Я думал, у него сломано ребро. Но минут через двадцать, в такси, он умер. Когда я открыл сумку, я увидел, что привезли мы уже мертвое тело. Но я не поверил. Его шерсть, дымчато-серые завитки, были, как живые. Потом я помог сестре уложить его в прозрачный полиэтиленовый мешок. На дне сумки, у шва, еще было немного кровавой пены. Я вытер простыней следы его агонии. Простыню я отдал сестре, а сумку взял обратно. Дочь, всхлипывая, отрезала клок у него с бока, и я положил его под пластик своего портмоне. Я вынул бумажку в пятьдесят марок, и сестра вернула десять марок сдачи. Мы вышли – я, дочь и две ее немецкие подруги. Двенадцатилетние дылды ростом с меня. На улицах были одни мы. Был полдень, фён – и наивысший уровень радиации. Мы остановили такси, это был тот же старик, который вез нас в клинику, но на пути туда мы были полны надежд.

Через два дня в Баварии радиоактивность спала, но повысилась в соседней земле Баден-Вюртемберг; и именно туда, под Штутгарт, отправилась Эсперанс, чтобы привезти щенка. Он тоже ласса-апсо – тибетская порода. Маленькие собачки с рыком льва – так они называются – выведены для внутренней охраны буддистских храмов. Мы долго искали ему имя. Наконец дочь сказала: «Робёр».

Сейчас Робер спит в ногах Эсперанс.

Обречены ли мы на рак щитовидной железы, или на лейкемию? Не знаю. Но они достали нас и на Западе. Всю Западную Европу в целом, и нас в том числе, беглецов.

Ничего. Ничего...

*Франкфурт-на-Майне, вокзал, 7.10.1986, 2 часа ночи*

До отхода поезда на Дармштадт еще 2 с половиной часа.

К счастью, меня еще пропустили на вокзал – очень существенный момент. Немец перепроверил мои сведения, но впустил, благо вид у меня еще не вполне опустившийся. Борода, правда, но с зонтиком. Хорошо, что купил сигареты.

Итак, франкфуртский вокзал ночью. Ву night, так сказать. Это – не опыт большинства. Но и не меньшинства также. Это опыт одиночек. Таких, как я. Под огромными сводами вокзала всего 7 человек (в момент взгляда).

Малайка, взглянув на меня, приставила палец к своему виску. Видимо, я произвожу впечатление. Я думаю.

Ничего. Плохо, что сапоги промокли и ноги липнут. Боюсь, что разносятся.

Прошли двое полицейских, но пишуший я не вызвал у них подозрений. Пишуший — безобиден...

В России вокзалы гуманнее, там есть скамейки. Здесь ни \*\*\*, кроме точек опоры.

*Мюнхен, без даты*

«Деревенская проза» – это 5-6 карликов с солженицынской бородой. Vologda connection. С. – дитя факультетов славистики. Русский фашизм – наиболее дремучий из всех существующих. Фашизм вечных суворовцев, «кадетов». Недомерки на службе у Главпура. Культ смерти, сверхнасилия, замороженность. Кузнецов, – кующий сверхдурака. «Либералы» – «человеческое»...

20 лет после 17-ти. Кошмар. Вся жизнь...

25 января 1992

Дома! На том же диване, где все это началось 7 января. Живой. Конвалесан. Еще Эспе привела латиноамериканскую поговорку, ради которой я и взялся за перо. Трусливые люди срут два раза.

МАТЬ ГОРОДОВ, 1995–2004

Прага, 25 сентября 1995

Жестом Богарта снимать крошку табака с губ.

Мне все равно, я все вставлю в свою книгу. Какую? Я пишу роман...

Перед отлетом за границу:

Скажи что-нибудь хорошее, но оба не знают что.

Прага, Водичкова 39, 8 июля 2002

Так мысленно я называл основной тот фактор нашей общей жизни, не видя при этом ничего конкретного. Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. Стих 18 века, где обло значит тучно, озорно – нагло и пакостливо, а лаяй – лающее. Револьверный лай его к моим временам слышен не был, но обло оно было на всю без малого одну шестую земной суши – если говорить только лишь о сфере легального влияния.

В страшном сне представить себе не мог, что это чудище откроет на меня все свои пасти сразу. Как я смог его так разъярить? С единственной книжечкой, с интересами сугубо интравертными, с фамилией, которую и выговорить с первого раза в этой стране никто не мог?

Отнюдь не Солженицын.

«Он не был другом моего сына! Они просто учились вместе! Он просто к нему заходил!» — повторяла в предсмертном бреде мать москвича Миши Э., о чем он рассказал мне перед убытием в Америку.

Мое дело было на контроле у Андропова, так что телодвижениями ограничиться они не могли. В Минске допрашивали мою мать, добиваясь, чтобы она написала им заявление с просьбой вернуть сына. В Ленинграде допрашивали мою сестру. Что же говорить про столицу, где я прожил последние десять лет и где, за несколько месяцев до моего отъезда, меня приняли в Союз писателей СССР. В Москве таскали на допросы всех, с кем я пересекался. Что они могли показать? Отголосок этих травм я услышал в публикации Б. Хо-

лопова, своего начальника по отделу публицистики журнала «Дружба народов». В своих мемуарах, в том же журнале опубликованных, он упрекает меня за раздвоенность – якобы им, шестидесятиникам, не свойственную. Что ж, не поверял я ему свои чувства к коммунизму.

Двадцать пятый год, как я уехал, но только сегодня утром 8 июля 2002 года поэт К., живущий теперь в Ганновере, добавил еще один пазл к ретроспективно невероятной картине последствий того выбора, который я совершил в 1977 году.

К., знакомый и сосед по последнему дому в Москве, напомнил, что это ему я оставил ключи от своей квартиры. Он принес туда свою машинку, водил девушек. Он работал на даче, когда услышал по Радио Свобода (приемник он слушал постоянно) мое заявление. Первой мыслью было: ключи! Что делать с ключами? Он поспешил в Москву, но дверь моей квартиры открыть не решился, позвонил к моему соседу, главному редактору «Советише Геймланд». «Вы уже знаете?» Редактор знал. «Я машинку хотел забрать...» — «Вас уже опередили», – ответил редактор, которого уже опросили (но показать он ничего не мог, поскольку мы, новоселы, знакомы не были). Не знаю, как с его машинкой, но мои ключи, которые жгли ему карман, К. в конце концов сдал Юрию Верченко, который в Союзе писателей СССР представлял и ЦК КПСС, и КГБ. Верченко поразил его своим веселым цинизмом: «А холодильник у него там есть? А кровать?». Не знаю, использовалась ли моя квартира в качестве «хаты», но из КГБ к К. воспоследовал звонок. Его пригласили, он отклонил. Тогда к нему домой явился полковник с фамилией, которая запомнилась ему как «Котеночкин», нечто ласковое, да и сам визитер был не страшен – кругленький, лысенький. Но, видимо, убедительный: последующие встречи КГБ с К. проходили на площади Дзержинского. «Ваш бывший сосед активно выступает», – сказали ему, предлагая участие в планах по умерению моей активности. Написать открытое письмо. Предложили даже командировку в Париж для встречи и беседы по душам.

Такой возможностью увидеть Париж К. не воспользовался.

«Так ты за эти годы так и не разу там не побывал?» – «Нет». – «Может, и правильно...». – «В начале 90-х, в Питере, – сказал я, – повесили сына моей крестной. Уже при Горбачеве. Аполитичный юный инженер...»

К. у себя в Ганновере на это помолчал.

«Зуб у них на тебя большой».

*Прага, начало 2000-х*

Они снова пришли ко мне, в мой бархатный куб, – встревоженные духи «матери городов».

На этот раз целой делегацией. Парацельс с Целетной, Леви... Тоже и Моцарт — впрочем, по праву.

Смутные времена. Транзитные. Что-то кончилось, что-то не началось. Шумы и ярость идиотов. Вторжения, захваты, оказания братской помощи, экспорт революций и формаций, в марксовом, то есть, смысле... Удары фронтальные, удары в спину. Я увидел полковника Рыбкина, супруга будущей детской говнописательницы, но пока еще тоже агентессы, я увидел его простреленное тело на обочине шоссе, и это означало, что устранен полковник был не классовым врагом, а коллатеральным процессом борьбы с космополитизмом, начавшимся далеко к востоку, в «столице зла». Триста! Я увидел месяц своего рождения, месяц гибели отца во Франкфурте-на-Одере, но бодрый январь надежды, и этих крепких ребят, выскакивающих из вагонов московского экспресса на перрон Хлавни Надражи. Три сотни. То, что «сделает разницу» в предстоящем выборе маленькой страны между двумя вариантами «светлого будущего»... На самом деле, конечно, они прибыли не только поездом, и не одним составом, все было тоньше подготовлено.

Или вот из нового...

Нет, я не большой поклонник Швейка, не надо делать выводов. Моя задача – помогать Америке. Собственно говоря, это должно быть задачей всего прогрессивного человечества. Проблема в том, что эта помощь для своей реализации иногда находит затейливые пути. По-русски говорят об этом коротко и ясно. Но русский я постольку, поскольку я американец. Непонятно? Гарант «русскости», как и любой другой национальной узости, ограниченности и сектаризма, – это все та же Америка the beautiful, наш упор и взлетная площадка в иные миры...

ВСЕГДА ВЫБИРАЙ НЕИЗВЕДАННОЕ, 2005–2013

*Бруклин, Шибсхедбей, 3 марта 2005*

«Я раздавлен, отхаркнут Временем – и упиваюсь своим ничтожеством». Не обо мне слова Чорана? Они датированы. 13 января 1963.

В тот день... Я был накануне 15-летия. Зимние каникулы. Заводской район.

Не могу вспомнить, какое в точности число, но точно, что пятница... 3 марта? Разбужен был около 7-ми звонком Ю. Перед сном я усмехнулся при мысли Чорана (которого вчера приобрел в магазине «Черное море», где стоят мои старые книги в количестве трех) – согласившись на встречу с кем-то, он немедленно стал чувствовать потребность его убить. Усмехнулся, поскольку подумал о Ю., к которому должен был ехать с утра. Звонков было много, засыпал и просыпался, и кончил тем, что даже проложил по карте путь к Penn Station. На ночь глядя. Чтобы не заниматься этим утром. И все напрасно...

Кинутость. Вот, что я испытываю в Америке к исходу первой недели. Последовательную. Чувство намного острее, чем в Европе... Но что делать? Как-то надо прожить этот день, а у меня нет иных идей, чем снова пуститься в прогулку к Интернет-кафе на Брайтон Бич. Час туда, час обратно. Кофе в том кафе нет. Когда я выразил удивление по этому поводу, молодой человек меня не понял. Там, сказал в окно, делают прекрасный турецкий кофе. И добавил: «А здесь нерентабельно. Пока». Я же имел в виду пражские Интернет-кафе, с которыми познакомился, благодаря М., ежедневным посетителем того, что на Пшикопе, и все это в лоне тысячелетней культуры...

Не заснул. Читал Чорана. Холодно, ноги стынют. Взял телефон позвонить П. – \*\*й. Заплати... Источник энергии только в камере, и я обратил его на себя, сделал три снимка, каждый раз обмирая от жути, что это – я, я – который в НЙ...

«Уютные брауниз, джентльмены на углах в верблюжьих пальто»... Все можно и должно оспорить, пишу я [в ответ на эти утешающие слова Саши Кабакова], проснувшись около 4 дня. В сигарете Parliament ultra lights попался «дубок». Кто бы мог подумать. Нет, курить можно только Marlboro Lights. Хотя Чоран к моему возрасту бросил. Тоскуя при этом по глотку кофе и затяжке. Собраться и выйти. На это ушел весь день, сейчас пятый час... St East Brooklyn. Это, где я живу. Sheepshead Bay. В местных русскоязычных газетах спеллингуют так, что звучит по-турецки – Шипсхедбей. Залив Овечьей Головы? Газеты: яблочные полифенолы сжигают жировые отложения на животе... Прочитал «Расширение пространства борьбы». Сосут не нам, все верно. Но надо позаботиться о себе.

Выйти за сигаретами. До угла., затем налево по Avenue Z. «Зи» – говорят здесь. Купить там заодно газету. Иногда мне кажется, что не было более тупого поступка в моей жизни...

*Воскресенье 7 марта 2005 (снова ошибся: б!)*

Был в верхнем Бруклине... Обрато с компьютерном грузом довел ливанец на лимо...

После пасты внутренне тот же комфорт, когда я завертываюсь с головой в якобы верблюжье одеяло с изображением тигра, прикрываясь сверху шерстяным (с изображением лани). Все та же мамма. Господи, прости мой эгоизм, но как мне повезло, что мама жива и в свои 84 исполнена жизнью!...

*8 марта, вторник? 2005*

...Что, выпался? – Нет, отмучался! <...>

Несмотря на включенный ФМ, болтающий по-американски, снятся ушедшие из моей жизни люди. Проснулся первый раз с глазницами, полными слез, которые почувствовал, перевернувшись на спину... Basement. Не совсем подвал, но потолок я трогаю рукой повсюду. Чтобы не зазнавался и много о себе не думал, мир послал мне газету с рецензией на только что вышедший в Америке роман Мосли «Человек из бейсмента»... Пока я собирался, началась такая пурга, что я отменил не только «бесполезный» выезд к П., но и поход в Интернет-кафе «Кибер Парадайз» на Брайтон Бич...

*Вашингтон, ДиСи, 15 апреля 2005*

Прохожий в зеленой спецодежде поднял голову – происхождение не читается. Джунгли Амазонки?

Пятнадцать минут на метро до Белого Дома.

Как оттуда видится страна Россия?

*4/16/05, 01:34 am*

...В бруклинском бейсменте думал, что умру. Впервые в жизни спал ниже уровня земли. Читая на ночь, разумеется, Чорана. Согреваясь, вспоминая Эдуарда в лефортовской камере, отжимался под огромным постером “Ночное кафе в Арле” – больше ничего в гостинице не было, пока не перекатил оттуда стол из кухни, где от холода за компьютером ноги отнимались...

30 апреля 2005

Друг по телефону сообщает, что первые месяцы в Америке были радостью цвета, хроматической эйфорией – после Союза. Мне же после почти трех десятилетий в Европе печально не хватает оттенков, нюансов, пастельных тонов. Тревожит, что не понимаю смысла, скажем, за этим мрачно-желтым колером таксомоторов, школьных автобусов... но ведь должен быть? ОК, когда в Париже я вознамерился приобрести одеяло для Сью, нашей бесплатной постоялице, и спросил насчет предпочтительного цвета, девушка сдавлено произнесла: “Lilac”. При этом по-американски честно зардевшись. (Сейчас листаю журнал *Womo* и вспоминаю, как беспощадно боролась Сью со своей ориентацией, заданной в престижном университете; о, то были времена... Обложка журнала, впрочем, в бледно-зеленых тонах). То есть, в этом смысле мне понятно. Но автобус, развозящий детей? Кстати, один недавно врезался, двое малышей погибли... и, глядя на фото безутешных родителей, я спрашивал себя, нет ли тут умонепостигаемой связи с цветом, – а он глубоким тоном еще угрюмей, чем такси... Конечно, традиция, конечно, хроматическая оппозиция Атлантике... Что же касается интерьеров, я бы все последовательно перекрашивал в блан-кассе, соответствие которому здесь, видимо, off-white. Но заикнувшись об этом, был не понят.

5/20/05, 08:39 pm

...Одна из трагедий чистого невозвращения – ни от кого еще не слышал, – что твои люди не уходят. Ты не был на похоронах. Не проводил в последний путь. Не знаешь точно. Поэтому они с тобой. Весь сонм. Импликации многообразны; иные, благодаря твоему отсутствию, упрямо продолжают жить, тогда как сам ты, несмотря на сидящую эспаньолку а ля Троцкий, переходя из страны в страну, а с континента на другой, пребываешь в вечно подростковом...

6/12/05, 01:18 pm

Jouse Carol Oates: “Проблема заложена в самой природе дневника. Если я стану говорить правду, эта правда, скорей всего, будет пустяшной. Если не дезорганизирующей, смехотворной, угнетающей в своей тупости. А если я не буду говорить правду, я утрачу интерес письма”.



6/25/05, 08:29 pm

“На Запад податься, что ли?” – мысленно спросил у самого себя и начал вдруг смеяться. Не до истерики. Умеренно. Спеша оправдать себя же тем, что в виду имел Сиэтл, штат Вашингтон, что там еще... Да. Прибежавший на Восток.

К вопросу, с которого все начиналось жизнь назад.

9/1/05, 08:06 am

Наслушавшись в Европе про географический идиотизм американцев, первое время так и отвечал – что из Европы я. Смотрели, как на придурка. Самые неожиданные люди каждый раз просили конкретизировать. Даже этот мулат, латинобандит. (Или он из Мозамбика?) С другой стороны, слыша, что я из Чешской Республики, из Германии, из Франции одновременно, будучи к тому же русский писатель с «финляндизированной» фамилией, не говоря о прочем, – никакого удивления. Поэтому в Америке чувство, что я – в порядке вещей.

11/23/05, 10:29 pm

Разве что снег пойдет, оговорился в шутку, поскольку всю светило солнце. Но вышел к семи вечера – идет. Искрится. Все равно пошел. А сейчас всю метет. Сделалась зима. Так-то господа. Это вам не падение коммунизма предсказать.

(в чем, кстати, тоже не совсем ошибся)...

12/15/05, 11:08 pm

Другу-диссиденту (отечески-строго:)

– А ты хорошо подумал? Америка без нас обойдется – без любого из нас. А вот мы без Америки...

12/19/05, 08:43 pm

Год был еще тот. Но пережил... Ужели? (1) потерю четвертьвековой работы со всеми импликациями, включая экзистенциальный ужас от низоподлости коллег (2) потерю Старого Света (3) иммиграцию в Америку (4) Бруклин и брайтонскую подлонизость (5) сумел, однако, не возненавидеть НЙ (6) штат Массачусетс (7) потерю и обретение дружбанов (8) <...> (9) двух Кать и Машу с convertible (10) пять компов и шесть смен Операционной Системы (11) с потерей и частичным восстановлением написанного кровью (12) обретение ЖЖ с его серьезно-проникающими чувствами (13) <...> (14) <...> (15)

локальный интернационал на 2,500 юных звезд, которых являюсь ходатаем в столице США, которую также пережил (16) романы «На крыльях Мулен-Руж» + «Суоми» (17) рассказ на 40 стр. «Ива Джи-ма» (18) несколько статей (19) плюс массу подебени вроде перечисленной, но не запомненной... А главное – что мама жива-бодра. В наступающем 85. (Или 87 – поскольку там недовыясненность даты рождения... Все у нас правильно. Как надо. Как должно быть)

*12/21/05, 09:57 am*

Почему в Париже не остался? Клаустрофобно стало. Все якобы познал. И любопытство. Ветер, ветер странствий... Да вот и друг мой Жорж, уже под 80 было, до мозга костей паризьен, вдруг взял и переехал в Экс. Но долго там не выдержал. Обрато вернулся в Латквартал...

Я выдержал.

*12/21/05, 10:32 am*

Не едут... Между тем, стал думать, почему остался за пределами. Миллион тому сошлось причин. Но одна из них, что русские, которыми неизменно восхищаюсь, казались дубоватыми. Прошу прощения. Слоновокожими. Тоже не так. Власть тьмы – непросветленности – в отдельно взятом. Нет, не пугала. Напротив – что вы. Но были трудности коммуникации. А ведь как будто русский тоже. Советский – говоря точнее. Часть того сброда, который ужасал Астафьева. Но без меня стал сброд не полон.

*12/21/05, 03:37 pm*

Список ностальгий, пережитых в порядке утрат:

– По Германии (фантасмагорической) – По Ленинграду – По Черноморскому побережью (спорадически) – По Прибалтике – По Западной Белоруссии (отсоединенной) – По Ленинским горам – По Бретани – По Парижу (и тут считая по аррондисманам) – По Толедо – По позднеосенней ФРГ – По Праге – И вот теперь отчасти по НЙ Сити.

*12/24/05, 09:58 pm*

Дружбан подъехал

Э. позвонил (был Яacobсон, но такого, как Э. здесь не было). На 11 часов «Амтрак» опоздал из Алабамы. Невероятно. Последствия как бы Катарины. Молод и взвинчен. Но не мальчик из МГУ. Заслу-

женный профессор. И где-то так звучит. Все это значит: завтра вздрогнем.

*12/27/05, 12:33 pm*

*Afterwards*

С подъемного крана, что в поле зрения, сняли Вифлеемскую звезду. Остался реять звездно-полосатый. Стрела перемещается – уверенно, бесшумно. Вдохновение, ты где?

*2, 4-5 декабря 2013*

*Риджвуд, Нью-Джерси.*

Из монологов Маши за рулем:

- Имея кресло с подогревом спинки, не говори, что у тебя открылась анахата...
- Я его не допоняла, а он себя не дообъяснил...
- Всё должно быть сказано. Всё. В другой, в бессловесной жизни, этого шанса не будет...

## Materials and Discussions